



18+

А.С. Стрекалов

Б.Пастернак - баловень Судьбы или её жертва?

Штрихи к портрету

Александр Сергеевич Стрекалов Б. Пастернак – баловень Судьбы или её жертва?

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=50174804

SelfPub; 2020

ISBN 978-5-532-07982-3

Аннотация

Работа посвящена некоторым наиболее ярким и показательным моментам из жизни и творчества Б. Л. Пастернака – моментам нелицеприятным и несимпатичным, как это теперь видится со стороны; но на которых, тем не менее, не заостряют внимания, которые стороной обходят его либеральные поклонники и биографы, считая их несущественными и пустячными по вполне понятным и объяснимым причинам! Борис Пастернак для либералов российских – солнце советской поэзии. А на солнце не должно быть пятен. Никаких!...

Содержание

1	6
2	9
3	15
4	20
5	26
6	34
7	46
8	50
9	60
Конец ознакомительного фрагмента.	69

*«Гул затих. Я вышел на подмости.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далёком отголоске,
Что случится на моём веку.*

*На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можешь, авве отче,
Чашу эту мимо пронеси.*

.....

*Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, всё тонет в фарисействе!
Жизнь прожить – не поле перейти...»*

Б.Пастернак

*«А, так ты... Я без души
Лето целое всё пела.
Ты всё пела? Это дело:
Так походи же, попляши!...»*

И.А.Крылов

*«Один солдат на свете жил,
красивый и отважный,
но он игрушкой детской был,*

ведь был солдат бумажный.

.....
*А он, судьбу свою кляня,
не тихой жизни жаждал,
и всё просил: "Огня! Огня!"
Забыв, что он бумажный.*

В огонь? Ну что ж, иди! Идёшь?...
*И он шагнул однажды,
И там сгорел он ни за грош:
Ведь был солдат бумажный».*

Б.Окуджава

1

Первый раз фамилию Пастернак, как сейчас помню, я услышал в начале 3-го курса – во время обязательных сельхоз работ, на которые нас, отдохнувших за лето студентов-мехматовцев МГУ им.Ломоносова, всем составом отправили в сентябре-месяце 1977 года, аккурат перед началом пятой по счёту сессии, из-за этого вынужденно сдвинутой на октябрь. Такая в последние годы Советской власти сложилась порочная практика – привлекать молодых студентов страны к решению продовольственной программы; понимай: ликвидировать за счёт нас, молодых и задорных, дефицит трудовых кадров на селе, становившийся к началу 1980-х годов хроническим и устрашающим. Целый месяц почти мы убрали картошку в подмосковном колхозе рядом с деревней Юрлово, жили в пустующем сельском клубе всем курсом, спали на раскладушках в комнатах по 8-10 человек, после работы пьянствовали и дурака валяли. Там-то я и услышал про поэта Пастернака как про “гения всех времён и народов и бунтаря – этакое советского Байрона” от нашего факультетского ловеласа и дурачка Серёги П., который по воле случая оказался в нашей комнате. До этого я про Пастернака ничего не знал. Абсолютно!

Серёга этот был москвичом и в нашу комнату попал случайно – как незванный гость или “беженец-подселенец”, кото-

рый “похуже будет любого татарина” – так в народе у нас говорят про внезапных попутчиков. Мы-то, иногородние парни, предварительно разузнав от старшекурсников про колхоз, ещё в общаге договорились, кто с кем будет на картошке жить; то есть ещё в Москве разбились на небольшие группы согласно взаимной приязни и симпатии, составили себе компании, хорошо понимая за прошедшие пару совместных общажных лет, как это важно для комфортной жизни, учёбы и работы – психологическая совместимость. Поэтому мы (я и мои товарищи) и поселились вместе, двумя соседними комнатами общежития: чтобы не сильно менять привычный быт даже и в деревне. Из “чужаков” взяли к себе лишь Беляева Колю – коренного москвича тоже, но отлично нас восьмерых знавшего по учёбе и стройотряду, дружившего со многими из нас, приезжими студентами... Девять человек, таким образом, нас оказалось в комнате: получился хороший спаянный коллектив. Но через день начальник лагеря, доцент Стёпин, привёл к нам Серёгу П. в качестве дополнительного соседа, опоздавшего на работы и оставшегося без койки, без жилья.

Серёгу, два первых курса учившегося в другом потоке, я плохо знал, никогда не общался с ним и даже не здоровался на переменах или столовой, проходил мимо. Да и сам он с нами, иногородними студентами, почти не знался и не контактил – принципиально: откровенно и глубоко презирал нас. Только с некоторыми однокурсниками-москвичами иногда

хоxmил-зубоскалил на переменах, обучавшимися с ним в одной группе, – и всё: на этом его студенческие контакты заканчивались. После занятий он пулей мчался домой, к друзьям детства, и там у него начиналась настоящая жизнь – бурная и насыщенная. У нас же на факультете – одни сплошные расстройства и мучения. Ибо был он у нас человеком *случайным* и *лишним*, этакой *чёрной вороной* в нашей целеустремлённой и тихой “стае мехматовских голубей”, или же “волком в овечьей шкуре”, “пятым колесом в телеге”. Тут по-всякому можно определить – суть от этого не изменится.

Не удивительно, что он презирал нас, своих однокашников, недотёп сопливых и неудельных по его твёрдому убеждению, “щенков желторотых, слепых”, от которых-де всё ещё молоком матери пахло, а мы презирали и чурались его – бездаря, двоечника и кутилку, “пса дворового и шалопутного”. И длились такие наши взаимно-недружеские презрения до самого 5-го курса, до дня выпуска...

2

Про Серёгу, которого мы называли *Серым* между собой и с которым по воле Случая или Судьбы я познакомился и сошёлся в деревне Юрлово, стоит рассказать поподробнее, в деталях. Уже потому, хотя бы, что без него я про главного героя очерка, советско-еврейского поэта Б.Л.Пастернака, долго бы не узнал – даже и после окончания Университета. Ибо других таких “столичных богемных эстетов”, как наш Серый, – “ценителей и знатоков возвышенного и прекрасного” – и, одновременно, неистовых и пламенных пропагандистов либеральных деятелей, ценностей и взглядов на жизнь в моём окружении ещё долго не наблюдалось... Серёга же был фанатичным поклонником многих еврейских писателей и поэтов советской эпохи, как и певцов, художников, музыкантов и режиссёров. И, тем не менее, Пастернак всё равно был первым и главным в его поминальном синодике, был выше и значительнее их всех: был у Серёги безоговорочным гением и кумиром. И уже из-за одного только этого факта, повторю, про Серёгу стоит поговорить, потратить время и силы – чтобы чётко понять для себя, какие забавные были у поэта-Пастернака **поклонники**. Ибо про самого Бориса Леонидовича (Исааковича) рассказывать сложно – и как человека, и как художника. Стихи его путанные и пустые, часто бездушные – ни о чём. А каким он был человеком в жизни? –

вообще не поймёшь и не разберёшь из книжек: еврейские биографы (а других нет) тут потрудились на славу, что называется, и его биографии трезвому и думающему человеку невозможно без ухмылок читать по причине их плоскости и убогости. Там пошлые сказки одни – и патока, от которой с гарантией диабет получишь!!!

Поэтому-то давайте-ка мы с вами, Читатель, нарушим незыблемую писательскую традицию и сначала с характеристики **поклонника** начнём, с **хвоста** – имеем право! А потом, как бы на десерт уже, перейдём и к самому **таланту**, **герою очерка** – чтобы дополнить и завершить картину, которая к тому моменту у нас с вами сложится. Будем действовать по поговорке, одним словом, *“скажи мне: кто твой друг? – и я скажу, кто ты”*. А поклонники, имейте это ввиду, выше и ценнее дружбы, ибо дружба бывает и случайной или же вынужденной – за неимением лучшего. А **поклонники** случайными и вынужденными не бывают...

И тут сразу же хочу уточнить, или оговориться, что дурачком мой новый дружбан Серёга был лишь в плане математики, которую он совсем не знал, плохо разбирался в ней даже и на школьном, самом простом и примитивном уровне, – но не в плане жизни. В жизни-то он дурачком точно не был; скорее даже наоборот – был предельно-оборотистым, ушлым и пронырливым пареньком, что и пробы было поставить некуда, прохиндеем и ловкачом с малых лет, дельцом,

каких мало. Про таких обычно говорят в народе, что этот оборотень и в игольное ушко с лёгкостью проскользнёт, если ему это будет выгодно и полезно.

Замечу ещё, в качестве преамбулы, что Серёга был на год старше нас по возрасту: окончил школу в 1974 году. Учился, скорее всего, там плохо, потому как с юных лет был пакостником и хулиганом, развратником и кутилкой, помешанным на застольях и бабах, на драках и похоти. Но после школы, по его рассказам, он, тем не менее, отдал документы в Московский экономико-статистический институт (МЭСИ), – но не поступил туда – провалил экзамены. От армии закосил, прикрывшись левой справкой. Пробивная матушка вынужденно трудоустроила его в какую-то элитную столичную типографию, печатавшую партийную литературу, где он полгода болтался без дела, баклуши бил и запоем читал в подсобке книги. Это была вся его работа!

Он нам рассказывал по вечерам на картошке с самодвольной ухмылкой, как ему это удалось – полгода сибаритствовать в типографии, зарабатывать себе нужный стаж и денежки неплохие; и при этом не стучать пальцем об палец, то есть быть “молодцом” – не лохом и не мужланом. История там с ним случилась занятная и показательная в плане бессовестности и цинизма – поэтому и начну с неё.

Мастер цеха, хороший знакомый серёгиной матери, через которого он на то предприятие и попал, однажды подозвал Серёгу к себе и предложил своему протеже отличиться перед

трудовым коллективом и начальством, показать способности и талант. «В типографию, – сказал он, потирая руки, – пришёл дорогуший финский картон на какой-то там очередной “шедевр” какого-то партийного бонза – толи Брежнева самого, толи Суслова, толи ещё какого старого маразматика-пердуна из Политбюро... Давай, – сказал светящийся счастьем мастер новобранцу, – возьми заказ на себя, нарежь обложек для книги. Работа, сразу предупреждаю, архиважная и архи-ответственная! Не хочу её нашим алкашам доверять, которые могут заказ и испортить. А ты – малый молодой, грамотный и смышлёный, в институт месяц назад поступал и ещё собираешься. Так что справишься – дело-то не хитрое! Нужно только старание и твёрдый глаз. Дерзай, парень! Исполнишь всё как надо – будет нам с тобою, дружок, и премия хорошая, и почётная грамота, и уважение от начальства. Может, и медальку какую дадут. На такое-то дело не пожалеют и медалек. То-то матушка твоя будет рада! Да и для будущего поступления пригодится...»

Сказав всё это, мастер дал Серёге размеры обложки – 20 см на 10 см, к примеру, – показал что и как нужно делать, как и чем чертить – и ушёл, доверился человеку: как-никак сын хорошей знакомой, потенциальный дипломированный экономист. И Серёга взялся за работу. Но только вместо 20-ть на 10-ть см он взял да и расчертил картон 19-ть на 9-ть, или ещё меньше того – вроде как по ошибке. После чего пустил неправильно размеченные картонные листы под нож, дал ра-

ботягам такую команду, которую они и исполнили в точности: по его чертежам изрезали картон на прямоугольники 19 на 9. Мелочь вроде бы, пустяк, но на обложку нарезки уже не годились, потому как не скрыли бы страницы книги – и надобно было их выбрасывать, утилизировать как брак. Конфуз, да и только!...

Пришедший после обеда мастер, когда это всё увидел, когда понял, почерневший и скукожившийся, что блатной ученик Серёга, на которого он понадеялся, загубил картон и под увольнение подвёл его, заслуженного пожилого работника, – остолбеневший мастер чуть было не помер от страха и от волнения, потерял речи дар. Так нам Серёга, хохоча, на картошке рассказывал, крайне довольный собой и сотворённой подлостью. Нас-то он уверял, гадёныш, что это всё случайно якобы у него получилось, что он-де того не хотел – подличать и гадить. Но я-то, впоследствии узнав Серёгу поближе, хорошо изучив его, понял, что это была сознательная и продуманная акция с его стороны, что он именно так всё и спланировал по своей подлой и гнилой натуре. Он всегда и со всеми так поступал: если можно было кому нагадить исподтишка, объегорить, облапошить или подставить, макнуть человека лицом “в грязь”, пусть даже и самого близкого и дорогого, – делал это с легкостью и незамедлительно, вполне осознанно и с удовольствием, самое главное, согласно позыву чёрного своего нутра, паразитической своей сущности. И никогда не извинялся потом за сотворённую мерзость-бяку,

не каялся – из принципа и из веры, из жестоковыйной природы своей.

И тогда, в типографии, он всё точно и правильно рассудил, что если выполнить заказ как надо, тютелька в тютельку, мастер потом не слезет с него живого, завалит работой по уши, что и покурить будет некогда, не то что книжку какую-нибудь почитать, дурака повалить в курилке. А **запори** он заказ “по ошибке” – его к работе больше не подпустят и близко, к любой!...

И так оно всё потом в точности и случилось, как хитрюга-Серёга предполагал, на что для себя рассчитывал. Рассвирепевший мастер, придя в себя, со лба смахнув пот ладонью, обозвал его сукой и м...даком, саботажником и провокатором, и сразу же послал на х...р прилюдно. Заявил грозно, при всех, чтобы сидел он с тех пор в подсобке и не показывался ему на глаза, дубина стоеросовая, хитрожолая! Что Серёга с удовольствием и сделал – до глубокой весны, до самого увольнения то есть в курилке с книжкой в руках просидел, задницей зарабатывая себе полный оклад и необходимый трудовой стаж для института. И получилось это всё у него чисто по-еврейски...

3

И тут мы подходим к главной характеристике Серёги как человека: он был евреем по матери, хотя старательно и скрывал это своё еврейство все годы учёбы и потом. Да и теперь всё ещё скрывает, не признаётся, хитрюга. Только *перестройка* нам на него глаза открыла, которую он как главный иудейский праздник встретил, приветствовал всем сердцем и всей душой, в которую без труда и напряжения вписался в качестве *предпринимателя*. Я видел его матушку несколько раз после окончания Университета: это была яркая пышнотелая дама, из тех, которые сразу же притягивают внимание мужиков, на которых весной мужиков как магнитом тянет. Эротической энергией она обладала знатной!

И при этом при всём она была не замужем: странно, да?! Родив от супруга сына и дочь в достаточно молодом возрасте, она быстро развелась с ним и жила потом всё время одна – с детьми, отцом и матерью – и была счастлива по разговорам и виду, или только вид делала... К мужикам, тем не менее, бегала раз от разу – на романтические свидания при луне, – но всегда возвращалась назад, под родительский кров и опеку, ни у кого подолгу не задерживалась: не предлагали, скорее всего, не оставляли рядом.

И работала она чисто по-еврейски – заведовала каким-то левым архивом в каком-то столичном НИИ, где под её нача-

лом числились четыре блатные и незамужние дурочки, годами бившие баклуши на рабочем месте, да чаи распивавшие целый день от скуки и от праздности, да со старых и ненужных папок смахивавшие регулярно пыль: в этом, собственно, и заключался весь их “труд упорный и героический”... Она же, будучи оборотистой женщиной, дурака валять не хотела и через еврейские связи пролезла работать ещё и в городской суд *присяжным заседателем*. Там она заседала по полгода, по рассказам сына, находясь как бы в служебной командировке, то есть без отрыва от основной работы архивариуса, – помогала судьям вершить дела. Судьи были от неё в восторге, покладистой, проворной и понятливой дамы, а она – от них. Когда же наступала плановая ротация, судьи писали гербованную бумагу в НИИ и в приказном порядке требовали кадровиков оставить серёгину матушку ещё на один срок, как сверхнадёжную и незаменимую помощницу. Потом ещё и ещё: так она всем там нравилась, так угождала!... Поэтому и проработала она в суде аж 20 лет – до пенсии по сути.

Должность *присяжного заседателя*, для справки, – вероятно, самая блатная и халявная из всех, самая в смысле обширных связей и левых доходов выгодная. Работы и ответственности никакой, кроме как помогать советами судьям в совещательных комнатах да щёки на заседаниях надувать. И при этом при всём ты – полноправный член суда, тебя все знают и уважают, все как перед попом-батюшкой кланяются, потому что от твоего совета и подсказки очень многое

зависит: 10 лет человек получит “строгоча”, или же 5 лет условно – разница существенная! К тому же, именно через присяжных заседателей давали взятки и подношения судьям в советские времена, чтобы смягчить или снять приговор, улучшить условия содержания подсудимых и заключённых. Присяжный заседатель, как не юридическое лицо, лицо общественное – а значит лицо неподсудное и случайное в любом судебном процессе, всегда выступал посредником в тёмных делах: напрямую судьи взяток никогда и ни от кого не брали. Отсюда – и такая важность этой пустяшной с виду профессии. Отсюда же – и многочисленные знакомства и связи!!!

Не удивительно, в свете всего вышесказанного, что серёгина матушка, уже и тогда коррумпированная пробивная мадам, раскинувшая по всей Москве среди себе подобных делег тайную сеть-паутину, матушка без особого труда подключила знакомых и устроила провалившего вступительные экзамены сына в цёковскую типографию сначала осенью 74-го, потом отмазала его, здорового бугая, от армии; а в 1975 году протолкнула его ещё и в Университет через чёрную дверь, да на престижный мехмат, где у неё, вероятно, появились обязанные ей чем-то люди.

Так и оказался балбес и нетяг Серёга у нас в МГУ, на механико-математическом ф-те, не зная совсем математики, не любя и не ценя её, не собираясь ей в будущем заниматься. И был он у нас такой единственный на курсе – случайный,

чужой человек, повторю, напоминавший Остапа Бендера в академической мантии или же гайдаровского Мишку Квакина на комсомольском съезде... Больше скажу: если бы у его мамы были знакомые на химфаке, допустим, или на биофаке, или во ВГИКе том же, – он бы поступил и туда. Какая в сущности разница, где штаны протирать, если не нужны знания! Поступил – и потом отучился бы там 5 лет с чьей-то тайной помощью. В принципе, ему было всё равно, повторю, где болтаться и диплом получать, и какой диплом. Лишь бы его получить и не ходить в армию. А дальше видно будет...

Понятно и естественно, и закономерно, что начальные два курса он был первым и главным кандидатом на отчисление, пересдавал экзаменационные сессии по многу раз и до последнего срока: зимнюю сессию – до весны, весеннюю – до осени, – когда уже готовились документы в деканате на его “ликвидацию” и по мехмату ходили упорные слухи, что Серёге нашему хана: выгоняют-де его, м...дака, с треском, и загремит он в армию!

Но потом в дело незримо вмешивалась его мать: кому-то звонила или приезжала лично на тайное randevu, утрясала проблемы, – и он чудесным образом оставался на курсе, продолжал учёбу дальше, самым этим фактом поражая нас всех максимально. Два первые года продержался и протерпел таким образом парень – выстоял. Ну а потом уже никого у нас не отчисляли, или почти никого: для этого надо было очень

сильно постараться. Ибо не выгодно было Университету и государству после 2-х курсов мехмата кого-то на улицу выгонять...

4

Уже в первый колхозный день, как только Серёга появился в нашей комнате, он начал активно уговаривать всех нас отметить знакомство и начало работ, попить винца на природе – не валяться бревном на койке, то есть, а с пользой назначенный срок проводить. И первый, кого он уговорил, был Миша Прохоров – единственный парень из нашей комнаты, кого он близко знал, с кем два первых курса проучился в одной группе... Ну а дальше всё пошло как по накатанной – самоходом. Миша уговорил отметить приезд меня: с ним мы были знакомы и дружны ещё с колмогоровского интерната, с осени 1973 года. Я уговорил Колю Беляева, с которым два первых курса делил одну парту в Университете, кого как брата полюбил сразу и навсегда за его душевную чистоту, прямоту, отзывчивость и щедрость, за незлобивость и порядочность, за его РУССКОСТЬ, наконец. Больше скажу: Беляев Коля, Николай Сергеевич теперь, – самое светлое и яркое пятно в моей достаточно уже длинной жизни, связанное со студенчеством и Университетом. Он – и Дима Ботвич, Дмитрий Дмитриевич ныне, – второй мой товарищ по МГУ, уроженец Курска, с кем я 4 года подряд ездил в стройотряд в Смоленскую область, пахал там как проклятый от зори до зори; с кем потом 3 года пьянствовал в аспирантуре; у кого впоследствии был свидетелем на свадьбе, а он у меня. Дру-

гих столь близких и дорогих людей у меня на мехмате среди студентов не было!...

Итак, я уговорил Колю сначала, а потом и Диму Ботвича вечером пойти погулять, которых было легко уговорить: ребята оба были покладистые и добродушные, податливые как пластилин. Остальные парни пьянствовать наотрез отказались – весь вечер сидели и резались в преферанс, расписывали “пульки”. А мы четверо сдали Серёге деньги послушно: он как-то сразу стал у нас казначеем и снабженцем одновременно, освободив нас от этого канительного дела, – и вечером отправились впятером в лес, что располагался почти рядом с клубом. Там нашли поляну удобную, расположились на ней, разожгли костёр – и принялись бражничать, лясы точить, наслаждаться приятным осенним вечером и природой...

И первое, что мне тогда бросилось в глаза и запомнилось крепко-накрепко, – было поведение Серёги. Он вёл себя с нами в колхозе по-менторски, свысока, как настоящий хозяин положения, то есть, наш старший наставник или учитель, а не как какое-то чмо, дурачок и двоечник, каким он был и держал себя в Универе. Отличник-Миша (ныне профессор) попробовал было поиздеваться над ним, как это он в группе делал, – но ошетилившийся Серёга быстро одёрнул его, поставил на место, да ещё и публично уел. «Ты, Мишаня, – заявил с вызовом, – хвост на меня не поднимай, не на-

до! свой гонор в задницу себе запихни и больше никому не показывай. Это ты на факультете отличник и передовик, а в жизни ты ещё никто, ноль без палочки, гость столицы. И кроме математики своей ничего не знаешь и не умеешь, не имеешь даже собственного угла – только койку в общежитии. А я-де, удалец-молодец, – коренной москвич из приличной семьи, и жизнь уже повидал во всех её видах и проявлениях, какие тебе, лимите, и не снились, наверное. И водки выпил немерено, и в драках неоднократно участвовал, двор наш в страхе держал, и в КПЗ сидел, и “конец” свой об баб уже стёр до основания. И пока ты задачки тупо сидел и решал дома и на мехмате – я уже гору исторических и художественных книг прочёл, про которые даже у нас в Москве с десятков человек только и знает; а попутно пару сотен выставок посетил и экспозиций, фильмов на закрытых показах, про которые ты, деревенщина необразованная, тоже небось ни сном ни духом не ведаешь».

–...Ну и какие же ты прочёл книжки, назови, про которые только десять человек якобы знает? – зло огрызнулся Миша, обиженный таким отпором, никак не ожидавший его.

– Пастернака, Мандельштама, Бабея, например, тех же Ахматову, Цветаеву, Солженицына и Антонова-Овсеенко, Булгакова и Платонова! – с гордостью выпалил Серёга на одном дыхании, как будто только и ждал подобного вопроса от нас, чтобы образованность свою показать и подавить нас всех одним махом этой своей образованностью. – Слышал

про таких, Мишаня, читал?!

“Мишаня” притих, пришибленный, не зная, что и ответить. Притихли и мы все, поражённые услышанным. Дурачок и неуч Серёга оказался не так прост, каким он два года нам, сокурсникам, представлялся, и не так глуп. Никто из нас, во всяком случае, фамилии перечисленных им авторов не слышал ни разу, книги их не видел в глаза. Было отчего притихнуть и призадуматься...

Целый месяц потом всё у нас в трудовом лагере повторялось как под копирку: днём мы работали в поле, а вечером по требованию Серёги, который нас четверых прямо-таки поработил и подчинил своей стальной воле, шли в лес кутить и трепаться. Трепался, впрочем, один Серёга в основном, который оказался завидным говоруном, а мы сидели и слушали его, разинув рот, поражаясь ему и его познаниям жизненным... Он и впрямь многое успел чего испробовать и повидать к своим 20-ти годам, что нам, чистоплюям-отличникам, и не снилось даже... Я, например, по молодости как огня боялся милицию и милиционеров, а он на них свысока смотрел, отзывался о них презрительно – как о “человеческом мусоре”. Я ни разу и ни с кем не дрался в жизни: не умел этого и не любил. А он про драки рассказывал с жаром и удовольствием, как про занятие любимым делом, уверял, что многократно участвовал в них, и побеждал, что неоднократно ломал себе руки и рёбра.

Далее, я боготворил женщин со школы ещё, воспитан был на Тургеневе и на Лермонтове, до девушек страшился до-тронуться аж до 25 лет, не говоря уж про что посерьёзнее и покруче: про аборты и триппаки, или про выходы в окна от чужих жён, когда их мужья внезапно вдруг заявлялись. Моя супруга Марина и стала моей первой женщиной – честно про то говорю: любовного опыта у меня до неё не было. А уж хорошо это или плохо? – не знаю, не мне судить... Серёга же на “баб” – его всегдашнее слово! – смотрел с брезгливым вызовом неизменно, оцениваяюще и похотливо, на всех; любил и часто произносил поговорки типа: *“курица – не птица, баба – не человек”, “баба создана для любви как птица для полёта”, “на Западе баб используют по назначению, а у нас в СССР – по специальности”*. И добавлял с ухмылкой: оттого-то у нас, мол, в стране и такой бардак, а на Западе – достаток и процветание! – что мы бабам волю дали!

Я в Университете не пил и не курил, все пять студенческих лет активно занимался спортом: лёгкой атлетикой, в частности, в Центральной секции МГУ. Пить я начал в 22 года, выйдя во взрослую жизнь и растеряв товарищей. От одиночества и тоски больше – не ради удовольствия. А как только женился – пить сразу же бросил, за ум взялся. И до сих пор не переношу запаха табака и спиртного. Такой уж попался у меня чистоплотный и аскетический организм: я в этом не виноват и заслуги моей в этом нету... Я и в колхозе на картошке не пил – просто сидел рядом и слушал пьяные

речи сокурсников, убивая время и поддерживая костёр, регулярно бегая за дровами... Серёга же, по его словам, уже лет с 14-ти, будучи безотцовщиной, пил и курил вовсю, и “трахал баб во все дырки” – любимое его выражение! – что были старше его по возрасту и много опытнее; а потом лечился от разных срамных болезней, на аборты любовниц возил, на гинекологические осмотры. Серёга, словом, был для меня человеком из другого, параллельного мира, который я по-молодости совсем не знал и который меня заинтриговал и заинтересовал предельно.

«Как это так возможно? – сидел и удивлялся я, с улыбкой поглядывая на нашего колхозного заводилу, восхищённо слушая анекдоты и байки красочные про его шальную и разудалую жизнь, открывая его для себя всё больше и больше, – как это так возможно: почти ежедневно пьянствовать и гулять, с девушками миловаться, крутить шуры-муры и всё остальное, – и при этом при всём умудряться ещё и много знать и читать, в Университет поступить московский, даже и для большинства небожителей-медалистов закрытый?! Чудно, невероятно это!!! Я, вон, до своих 19 лет дожил – а всё ещё дурак дураком: ничего не знаю и не имею, нигде не был, ничего не читал. А тут!... Да, студент Серёга плохой, самый последний на курсе! Но что из того?! Зато всего остального вон сколько знает, сколько всего повидал на свете, чего многие из нас, отличников, и до смерти не узнают, наверное, не испытают и не поймут!!!...»

Так вот и появился у меня новый товарищ в Москве, Серёга П., Серый, с которым я по собственной воле сошёлся довольно близко на 3 курсе, с которым три последних года учился на одном потоке, вместе слушал лекции – понимай. Хотя кафедры у нас были разные, разные группы и, главное, разные интересы и взгляды на жизнь, как и место в ней человека.

Серёга не отталкивал меня, видя мою к нему симпатию и приязнь, наоборот – приближал, хотя толку ему от меня, лимиты, не было никакого. Но я был единственным человеком на курсе, кто стал смотреть на него снизу вверх – в прямом и переносном смысле. Ибо мало того, что он был москвичом, и москвичом “богемным”, как мне почудилось из его рассказов, но он был ещё и на голову выше меня и весил килограммов на 20 больше.

Он это сразу подметил – моё к нему уважение и пиетет, – и ему это было лестно, понятное дело, это тешило его самолюбие: он был крайне самолюбивым и амбициозным парнем. И можно только представить, что ему приходилось испытывать и терпеть, когда все остальные сокурсники, в том числе и Дима Ботвич с Мишей Прохоровым, пьянствовавшие с ним на картошке, после колхоза по-прежнему сторонились его, продолжали смотреть на него как на дурачка или пустое

место, меня от дружбы с ним отговаривали постоянно. Оба они оказались прозорливее и мудрее меня и не клюнули на его пропагандистско-рекламную удочку, в его еврейские сети не угодили. А я вот попал – и виною тому был я сам, безусловно, моя внутренняя мировоззренческая перестройка.

Третий курс, признаюсь, стал для меня переломным во многих смыслах, связанных со сменой приоритетов и переоценкой ценностей. Два первые года учёбы в МГУ были мной полностью и безоговорочно подчинены математике: ничем другим фактически я и не занимался. До обеда, до 15-00, сидел на лекциях и семинарах в Главном здании на Ленинских горах, после обеда – в читальном зале общежития. И так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Учёба на начальных общеобразовательных курсах была очень тяжёлой: в нас закладывался могучий научный фундамент на будущее, без которого дальнейшее мехматовское образование теряло смысл. Преподаватели нас не щадили, не давали поблажек и послаблений, даже и дух не позволяли перевести. Неудачников отчисляли, не задумываясь и не церемонясь: несколько человек отчислил за два первых года или посоветовали перейти на другие ф-ты, попроще и поскромней. Проверки знаний шли сплошным непрерывным потоком: некогда было голову поднять и оглядеться. Ежедневно проверяли даже и посещение лекций и семинаров – всех! За прогулы шли суровые наказания – нас лишали стипендий прежде всего, а они тогда были немаленькими. Я был

придавлен учёбой как бетонной плитой, я света белого не видел!... И это – не метафора и не гипербола, не красивый речевой оборот: так всё оно у нас и было. Учёба, учёба, учёба с утра и до глубокого вечера! Одна сплошная сверх-напряжённая и сверх-утомительная учёба два первых года, между которыми был ещё стройотряд, куда я 4 лета подряд на работу ездил.

А ещё первые два курса я параллельно преподавал в ВЗМШ (Всесоюзная заочная математическая школа при мехмате МГУ), в которой сам совсем недавно ещё с энтузиазмом и задором учился и много пользы для себя поимел. Каждый месяц, помнится, будучи школьником, получал из Москвы теоретический материал и задачи, сам всё это осваивал и решал, отсылал в МГУ в огромном конверте, который сам же кроил и клеил, – и потом через пару-тройку недель получал тетрадку обратно с оценками и советами, и новой контрольной работой. А поступив в 1975 году на мехмат, неожиданно-негаданно сам стал юным преподавателем.

ВЗМШ – это была обязательная общественная нагрузка для всех студентов нашего факультета, кто планировал, получив диплом, в мехматовскую аспирантуру сразу же поступать. А я планировал (на старших курсах, правда, передумал, учился в аспирантуре уже в своём НИИ, без отрыва от производства), потому и впрягся по-молодости и по-дурости в этот преподавательский воз – тоже, надо сказать, нелёгкий. На первом курсе я вёл восьмиклассников; приходил в штаб-

квартиру ВЗМШ на 12-м этаже мехмата и получал там 30 тетрадей ежемесячно присланных контрольных работ, которые должен был за неделю проверить и отдать назад с оценками и комментариями. А перед проверкой должен был все задачи решить (10-12 задач), потому как если школьники решали задачи неправильно или совсем не решали какие-то, я должен был не справившемуся с задачей ученику написать короткую подсказку. Это приходилось делать регулярно – советовать, намекать и подсказывать. Отличников и в ВЗМШ было мало, с которыми не требовалось возни, их всегда и везде мало: это штучный товар. И вся эта возня со школьниками мною делалась между основными занятиями, замечу, когда я от университетских дел отдыхал, от интегралов и производных отвлекался, от многомерных матриц, тензоров и числовых рядов... А на втором курсе мне и вовсе доверили вести десятиклассников, всё тех же 30 человек, полноценный школьный класс по сути, когда ответственность увеличилась многократно, как и сложность самих задач: ведь каждого подшефного школьника я фактически, пусть и заочного, уже подготавливал к поступлению на мехмат. Я это хорошо понимал, возложенную на меня руководством громадную ответственность; поэтому и старался и выкладывался особенно сильно весь 2-й курс – в ущерб здоровью...

А потом я страшно устал: я это ещё в стройотряде почувствовал летом 1977 года, что надо мне менять жизнь и

ослаблять вожжи. А то так недолго и до беды, до болезни тяжёлой, психической, когда понадобится уходить в академический отпуск на год и восстанавливать дома подорванное здоровье и силы, драгоценное время терять. Тем паче, что два первых общеобразовательных курса мной были успешно пройдены, добротный фундамент заложен, и нас распределили по кафедрам в октябре, где каждого учили уже какому-то одному направлению, “заостряли” студента на одну конкретную тему, а не на всё. Необъятное объять невозможно – это ясно и дураку. Тем более это было ясно, и очень давно, мехматовским славным преподавателям... Отсюда – и кафедры многочисленные, и направления. И каждому студенту-старшекурснику – уже свой личный наставник-педагог из профессорско-преподавательского состава, который и отвечал за него, за его знания и успеваемость.

Из ВЗМШ я ушёл с лёгким сердцем по окончании 2-го курса, переложил работу на молодых. Свободного времени прибавилось из-за этого. Да и дисциплина стала заметно падать: преподаватели меньше проверяли нас, меньше контролировали посещения лекций. На старших курсах студенты получили волю и возможность самим решать, как и по каким правилам им учиться. Угроза отчисления и лишения стипендии над нами уже не висела...

Это не могло не сказаться на настроении и поведении студентов: мехматовцы, и я в их числе, начиная с 3-го курса

вздохнули, наконец, полной грудью, выпрямились во весь рост, расправили плечи. Тяжеленная “железобетонная мехматовская плита” спала с нас со всех, мешавшая нам жить и дышать свободно, радоваться каждому дню и солнцу. Мы все, или большинство из нас вдруг как-то сразу поняли, что математика – это хорошо, это прекрасно даже; но она – не единственный огонёк в окне. Есть и другие цвета на Свете Белом – и не менее яркие и привлекательные.

Такую перемену чудесную и живительную в поведении и настроении студентов-третьекурсников я мог воочию наблюдать по своим друзьям, с кем я два года уже жил в одной комнате в общежитии, мысли и чувства которых прекрасно знал. Так вот, один из троих моих дружков на 3-м курсе увлёкся байдаркой и турпоходами, стал пропадать в тур-секции МГУ ежедневно, и ежемесячно ходить в походы на байдарках по рекам России. И занимался он этим делом до самого выпуска: туризм в его жизни на равных соперничал с математикой.

Второй дружок вдруг увлёкся историей мирового кино: стал регулярно ездить в кинотеатр «Иллюзион» с какого-то перепою и просматривать там старые фильмы раз за разом, кайф от них получать, ума-разума набираться, богемного шику и лоска. Потом, накайфовавшись сам и позитива и знаний набравшись по самое некуда, начал заниматься пропагандой искусства кино среди дружков-студентов – расклеивать объявления в общежитии о каждом очередном западном фильме, покупать абонементы месячные и полугодовые и

распространять на мехмате, нас в «Иллюзион» зазывать. И тоже маялся этой киношной дурью до последнего в Университете дня. Да и потом не бросил.

А третий мой сожитель-балбес и вовсе заболел картами, постоянной игрою в них: стал профессиональным картёжником и зарабатывал неплохие деньги. Всю ночь он играл где-то – в преферанс и бридж в основном, реже в покер, – а днём отсыпался в комнате, пока мы были на занятиях. Отоспится, в столовую сходит, бывало, сил наберётся, помоемся в душе, тело своё освежит – и опять на игру “летит” со всех ног, как только очумевшие от любви женихи к похотливым невестам бегают. Год поиграл таким образом, порезвился, парень, а к весне его отчислили с мехмата – за прогулы и неуспеваемость! И стал он единственным 3-курсником, как представляется, потерявшим берега и голову, кому указали на дверь. Но главное, он – конченный игроман, ни сколечко не жалел об этом, волосы на голове не рвал: по слухам высококлассным “каталою” в итоге стал, нашёл себя в жизни, парень.

А Володя Шмуратко, мой однокурсник, добрейшей души человек, с которым я 4 года подряд в один стройотряд ездил, увлёкся на 3-м курсе живописью, картины начал писать, устраивать регулярные выставки у нас в общежитии. Теперь он известным столичным художником стал: картины его пейзажные всюду гуляют по Интернету и пользуются успехом у публики.

И это только четыре наиболее характерных примера, кото-

рые до сих пор помнятся, крепко сидят в голове. Про остальных парней и девочек если начать рассказывать – бумаги не хватит. Да и не интересно это – чужие жизни без конца вспоминать, в судьбах других копаться, свою судьбу отодвинув в сторону. Скажу лишь, что только единицы моих ровесников, по моим наблюдениям, сохранили детскую верность и преданность «царице наук», и не вышли за рамки математики все пять лет, не изменили ей даже и мысленно, как не выходят монахи-схимники за стены монастыря или обитатели зоопарков за ограду своих вольеров. Для них она по-прежнему оставалась единственная и неповторимая, как и родная мать, заменявшая им буквально всё и всех в их молодой жизни. На неё они – как те же монахи на святые и нетленные мощи – молились...

6

А про себя самого скажу, что я ещё в стройотряде твёрдо решил, очередной колхозный коровник достраивая, что пора мне с моим мехматовским фанатизмом кончать! И побыстрее!

«Хватит, – помнится, решил для себя в августе-месяце, – хватит, Сань, отдал дань порядку и дисциплине, дифференциальному и интегральному исчислению, алгебре и геометрии, обыкновенным дифференциальным уравнения – пора и о душе подумать, а не только о крепости разума. Третий год, – удивлялся с грустью, разглядывая прищуренным взглядом голубое смоленское небо над головой, – живу в Москве – а Москвы-то толком ещё и не видел, не знаю, не говоря про что другое, возвышенное и прекрасное. Только Главное здание МГУ и 6-й корпус ФДС на Ломоносовском проспекте – единственные мои друзья, студенческая общага родная, где я до полуночи из читального зала не вылезаяю, а потом сплю как сурок на казённой кровати, набираюсь силы и энергии для следующего учебного дня и следующего за партой и столом кропотливого сидения. Не смотрю телевизор совсем, не читаю газет, журналов и художественных книг, не хожу в кино и театры, в музеи и на дискотеки, за политикой не слежу, за культурной жизнью. Дикарь дикарём, короче! Маугли настоящий, “кухаркин сын”, или биоробот,

заточенный на одно дело! Единственное развлечение за два первых курса – Центральная секция МГУ и Манеж, где я занимаюсь лёгкой атлетикой под руководством великого тренера и человека, Юрия Ивановича Башлыкова. Но этого явно мало для студента Московского Университета, такая убогая культурная палитра, катастрофически мало...»

«Нет, Санёк, нет и ещё раз нет! – намечал я для себя новую программу жизни уже на картошке, где было достаточно времени и места подумать о печальной судьбе своей, где мы не перетруждались особенно-то, отдыхали больше. – Надо математику потихоньку в сторону отодвигать, не зацикливаться на ней одной, а начинать жить полной жизнью, как другие молодые люди живут, некоторые мои столичные однокурсники. По Москве надо бы походить-погулять, познакомиться, наконец, с ней поближе; на мир и людей посмотреть, выставки посетить и музеи, где я тоже ни разу не был. Словом, надо срочно окультурить себя и цивилизовать. А то ведь как чистым лапотником приехал в столицу, так чистым лапотником и останусь, выйдя из МГУ. И где я потом культуры наберусь, галанту и политесу? – неизвестно! И так и останусь до конца дней своих валенком деревенским, навозным жуком. Вот будет тогда стыдобища!...»

С такими приблизительно мыслями и настроениями я в колхозе Серёгу и встретил, которого мне будто бы сам Господь Бог послал – так я тогда для себя решил и подумал, –

который мне, чудачку, незримой волшебной дверью вдруг показался, или сталкером-проводником в изящный мир культуры и искусств, духовного творчества. В мир, который я, будучи глубоким провинциалом-богородчанином, совсем не знал, но куда, однако, всей душой устремился... Поэтому-то я и начал крутился рядом с Серёгой по возвращении в Москву, видел его почти каждый на лекциях, подолгу беседовал с ним в перерывах, частенько даже провожал его до 104 или 103 автобусов (он жил в Кунцево).

Серёга, хитрюга, видел мою к нему вспыхнувшую на карточке страсть, понял её истоки – и умело распалил меня во время частных бесед, поддавал пропагандистского жару. Уверял меня на голубом глазу, что он-де регулярно читает редкие книги, которых не знает и не читает больше никто. Потому что они запрещены в стране, а ему их привозят и дают почитать какие-то якобы знакомые дипломаты. Плёл, не морщась и не краснея, что у него вообще масса знакомых в Москве на самых разных уровнях и направлениях. И всё это – благодаря его умной и знающей матушке, богемной и знатной даме, которую-де многие высокопоставленные дяди и тётки знают и любят, дружат с ней, к ней тянутся. А он, соответственно, через неё знается и дружит с ними... Хвастался, что помнит все картины музеев Москвы наизусть, по залам даже, что не пропускает ни одной выставки и вернисажа; что русскую поэзию знает чуть ли ни всю от корки и до корки, и *золотой* её век, и *серебряный*, но выше всех русских

поэтов, тем не менее, ставит Бориса Пастернака. Пастернак для него был настоящий Бог, для простых смертных якобы не достижимый и не доступный!... А ещё он хвастался, и тоже на голубом глазу, что перечитал в своё время (когда?!!!) всего Достоевского, и понял Фёдора Михайловича так, как его ещё никто не постиг и не понял. Что он, Серёга, самый главный специалист в Москве по Достоевскому – главнее и выше нету...

Я слушал все эти бредни сказочные и хвастливые, разинув рот, безоговорочно верил им, и всё больше и больше уважал и ценил Серёгу. Подспудно надеялся от него все эти знания получить, до которых я был всегда страстный и большой охотник. Я и теперь, став стариком, ЗНАНИЯ боготворю, читаю запоем книги и частенько по-детски дивлюсь им, хотя уже умирать скоро и учиться вроде бы незачем. Да и совестно, как ни крути: в моём-то возрасте все уже знают всё и давным-давно уже сами всех учат... Но нет, читаю, удивляюсь по-детски и до сих пор учусь; живу так, одним словом, будто старухи-Смерти не существует в природе, и у меня впереди ВЕЧНОСТЬ. Поэтому-то мне всё до сих пор до ужаса ещё интересно. Поэтому-то и список книг, который я для себя когда-то давным-давно составил для обязательного прочтения, не уменьшается с годами, наоборот – всё только увеличивается и увеличивается в размерах, пополняясь новыми авторами и именами...

Пустомеля-Серёга, одним словом, очаровал меня макси-

мально своими байками и своим безудержным хвастовством. А я по молодости был человеком крайне доверчивым и наивным: всем на слово верил. Особенно – москвичам, которым я, бездомный и без-приютный туляк, сильно всегда завидовал, у которых всё было схвачено в Москве, имелись жильё и дачи, целая куча родственников и знакомых, обширные связи, друзья. А у меня, увы, долго не было из этого необходимого социального набора ничего – только временная койка в общежитии и такая же временная прописка...

Хотя, признаюсь, не всё мне в Серёге и тогда уже нравилось, а многие вещи и вовсе коробили, заставляли стыдливо краснеть, или наоборот – бледнеть и морщиться, покрываться мурашками от досады. Он ведь не только про музеи и литературу со мной говорил, но и про жизнь тоже. А она у него была широкой и бурной на удивление, и в некоторых местах достаточно неприглядной.

Он, например, матом постоянно садил – и на улице, и на переменах факультетских, и даже на лекциях умудрялся непечатное словцо вставить, когда лектор ему не нравился. Причём, часто делал это демонстративно громко, с неким ухарским вызовом даже, что на него оглядывались все – и краснели... Далее, он мне без конца рассказывал про свои коллективные пьянки с дружками и бабами, которые у него не прекращались, следовали непрерывным потоком. «Откуда у человека деньги на это? – думал я, – если он с первого

курса учится у нас без стипендии: на шее у матери и у бабки с дедом сидит, свесив ножки. И в стройотряд он не ездит, бездельник, категорически. Хотя знает от нас, прекрасно осведомлён, что нам там платят хорошие деньги... А он завидует нам на словах, слыша про наши трудовые заработки, зло ухмыляется всякий раз, трясёт головой от досады, но работать с нами ехать не хочет: всё лето пьянствует и развратничает с приятелями. На что?...»

Потом-то уж я узнал, на что; узнал, что был Серёга профессиональным альфонсом и халявщиком, каких ещё походить-поискать надобно, каких не часто встретишь даже и в перенаселённой Москве. Сдружался он быстро и часто с людьми – это правда, – но с одной-единственной целью только: чтобы “друзей” “доить”, и “доить” безбожно. И все зазнобы его и любовницы моментально попадали в положение “доноров” и “кормилиц”: щедро оплачивали дружбу, любовь и ласки, которые он им предоставлял. А иных он рядом и не держал, не тратил время! Умных и прижимистых он сразу же отдалял от себя, относил в категорию “жуков” и “гнид хитро-жопых”, и везде их чернил и хаял нещадно на чём свет стоит... Не удивительно, что он помнил наизусть все дни рождения и юбилеи всех своих многочисленных любовниц и “друзей”, и обязательно звонил и намекал за несколько дней до даты, чтобы не увиливали, не зажимали люди пьянки-гулянки, а приглашали и “хмелили” его – лучшего их “друга”... Сам же он редко когда свои памятные даты отмечал: начи-

нал заранее ныть и жаловаться, хитрован, ссылаться на отсутствие места и денег... Но чужие пьянки не пропускал никогда, юбилеи, свадьбы и похороны, новоселья те же, между которыми он не делал различий. Причём, мог оказаться на соответствующем мероприятии даже и у незнакомых людей, к кому-нибудь втихаря прицепившись... И если уж он туда каким-то хитрым способом попадал – то выгнать его из-за стола было уже невозможно. Первым садился за стол – последним вставал, будто бы и не замечая ждущих: стыда и совести у человека не было совершенно...

А ещё мне категорически не нравились, омерзительны были до глубины души его удалые рассказы про сексуальные оргии, которые он с парнями в общаге устраивал раз от разу, доверчивых деревенских дурочек там развращал. У него, как выяснилось, в одном из подъездов дома, где он жил, располагалось женское общежитие, где обитали молодые девушки-лимитчицы, приехавшие на заработки в Москву. Вот Серёга с дружками туда и повадился шастать с некоторых пор – устраивать там пьяные бардаки за девичий же счёт, и порно-сеансы. Напоят там девушек до без-чувственного состояния, у них же взяв денег якобы в долг, и без отдачи, естественно, – какой там! Такие ухари и альфонсы за любовь деньги **берут**, а не платят сами. Ну а потом начинают над ними же и куражиться, без-помощными и беззащитными, свою удаль показывать друг перед другом, сексуальную изошрённость и мощь, фантазии пьяные. Сначала поодиночке с ни-

ми упражняются на соседних койках самым диким и варварским способом, а потом трое на одну лезут, а то и все четверо или пятеро: рвут у девушек всё внутри, больными и порченными делают на всю жизнь, и регулярно беременными. . . У меня от рассказов тех, помнится, мороз по спине бежал, сердце сжималось от жалости и от боли, от страха за несчастных провинциалок, что по молодости и по неопытности попадали в лапы таким вот нелюдям-стервецам! – а похабник-Серёга, довольный, лыбится стоит, геройствует передо мной, зелёным и не целованным. Ему, шалопутному подлецу, вся эта мерзость и этот публичный разврат сильно нравились. И занимался он этими оргиями довольно долго по разговорам: нечистоплотным был в морально-нравственном плане, грязным и злым. . .

И его забавы юношеские, любимые, были мне тоже сильно не по душе, про которые я от него узнавал постепенно, с течением времени. Это когда они сбивались в стаи бандитские и мотались по паркам и скверам Москвы, сознательно надирались там на молодые пары при помощи малолеток и потом унижали парня в присутствии девушки, “опускали” его, старались девушке показать, что её избранник – трус, дерьмом и ничтожеством, её любви и внимания недостойный. . . Вообще, надо сказать, что Серёга терпеть не мог счастливых, успешных, довольных жизнью людей по моим наблюдениям, на дух не переносил крепкие и здоровые семьи: они вызывали в его чёрной душе одну сплошную ненависть и злобу. И он втайне

мечтал их сломать и разрушить, по миру пустить; всё делал для того, хотя и скрытно.

Другим его развлечением, которое он тоже любил и с удовольствием занимался, была “охота” на рыбаков его пруда. Он и про это мне часто рассказывал, не таясь, про прежние свои шалости – и с превеликим удовольствием это делал, гадёныш, с гордостью нескрываемой... Всё там у них происходило так, по его свидетельствам. Рядом с метро «Пионерская», если кто знает, есть небольшой пруд, где местные мужики до сих пор ловят от скуки рыбу для кошек, расположившись на корточках или на складных стульях. А Серёга лет этак с 16-ти частенько отирался где-то там неподалёку у зазнобы своей, впоследствии ставшей его супругой.

И вот, приезжая к ней и надираясь пьяным, он от скуки собирал дружков лихих и драчливых и вёл их всех к воде – “охотиться на м...даков и грубиянов”. Там они находили одинокого рыбака: а такие присутствовали там постоянно, – подходили к нему сзади, по-волчьи, и начинали мужика провоцировать и задирать, выводить из себя просьбами типа: “дай закурить нам всем, не жидись”, “а когда у тебя было-то, куркуль?”, – или: “а чего ты тут вообще-то сидишь и нашу рыбу ловишь, которую мы недавно сюда запустили для распада?” – ну и всё такое, заводное, колкое и обидное.

Мужик, понятное дело, терял терпение, выходил из себя от наглости неприкрытой и хамства, и простодушно посылал молодых наглецов куда подальше. После чего слышал сзади

ядовито-злое: “да ты, дядя, не умеешь себя вести в гостях с порядочными людьми”, – получал от Серёги пинок под зад или в спину и летел в воду прямо в одежде: хорошо, если летом, а ведь подобное бывало холодной осенью или весной. Следом же за ним туда летели его складной стул и все рыбацкие принадлежности.

Итог был таков, что ошалелый, взрослый мужик барахтался в воде как пацан, ловил снасти и вещи, беспомощно ругался и думал, как ему из грязной воды выбраться и домой попасть в таком неприглядном виде. Серёга же с дружками стояли на берегу и ржали дружно, как жеребцы, довольные собой и выходкой, которую считали удачной, достойной того, чтобы потом знакомым про неё, смеясь, рассказать.

Мне же, когда я всё это слышал, было совсем не смешно, наоборот – грустно и страшно было. Ох, и не хотел бы я никогда попадать Серёге под его шутки дурацкие и под горячую руку, под которой неизвестно ещё – выживешь ли, останешься целым!... А ведь сколько ходит по нашей Святой земле таких вот “серёг-весельчаков”, для которых унижить и опустить человека – праздник настоящий, великий... В такие минуты я очень хорошо понимал, почему Серёгу его дружки детства прозвали за глаза Бармалеем – злым разбойником, если кто позабыл, из сказки К.И Чуковского...

А ещё он был ярым антисоветчиком, учась в МГУ, и патологическим диссидентом, лютым ненавистником Сталина

и всей советской системы, построенной якобы на крови. Мне всё это тоже жутко не нравилось, коробило и оскорбляло до глубины души! Ибо сам-то я был сугубым патриотом своей страны, считал Ленина и Сталина с юных лет, как себя помнил, гениями всех времён и народов, создавшими величайшую в мире Державу фактически из руин, сделавшими её самой справедливой и гуманной на свете. Так меня воспитывали в школе учителя, а дома – родители; и в это я свято верил.

Серёгу же эта моя святая вера и убеждённость бесили, выводили из себя, потому что больше всего на свете он не терпел именно верующих людей, имеющих идеалы и цель в жизни. Таких он старался всенепременно с панталыку сбить, посеять в их чистых душах сомнения и хаос.

Он и меня, необразованного паренька, постоянно сбивал, подлец, с пути истинного, державно-патриотического, подсмеивался надо мной, диссидента из меня упорно делал. И при этом для убедительности постоянно осыпал меня страшными цифрами жертв и потерь, вычитанными из Солженицына, из Антонова-Овсеенко, позже – из Волкогонова и Радзинского; вешал потери и жертвы всей советской эпохи на “тирана”-Сталина одного, фамилию которого он спокойно слышать не мог – сразу же начинал беситься и материться!

Но я упирался, как мог, стоял на своём – не хотел верить и знать, что всё в нашей советской Истории было жутко до ужаса, дурно и аморально, построено на крови и костях,

на лагерной пыли. Я чувствовал всем естеством, что это – неправда!!! Или, в лучшем случае, перегиб!!!

«Откуда тогда наша силища-то взялась: первоклассные самолёты, Космос и Атом, лучшее в мире образование, наука и культура? – думал я, – если у нас в стране жизнь была такой мрачной, тягостной и антинародной при Сталине?! Забитые и запуганные до смерти люди великую науку и культуру не создадут, и государство могучее не построят!...»

Книг вот только я никаких не читал – ни патриотических, ни диссидентских, вражеских; и не мог поэтому с Серёгой на равных поспорить, его бредовые цифры и “факты” правильными опровергнуть или же перебить. Поэтому и приходилось уступать иногда и соглашаться в спорах...

И тем не менее, несмотря ни на что, мне Серёга понравился, пришёлся по сердцу на картошке – и я с тех пор потянулся к нему как стебельки тянутся к свету. Была в нём при всех изъянах и недостатках какая-то природная удаль и бесшабашность, внутренняя свобода и мощь, чего я не замечал в своих сверстниках из общаги. Мы были дети ещё, как ни крути, и были приезжие, гости столицы; вели себя соответствующим образом – как дети и гости: скромно и тихо то есть, робко и незаметно для окружающих. Серёга же был взрослым, опытным и прожжённым парнем, повторю, и был москвичом, любил и ценил Москву, знал её как свои пять пальцев – центр Москвы, во всяком случае. Он и вёл себя и держал поэтому как коренной москвич; сиречь – как настоящий хозяин. И с нами, и с преподавателями, и вообще.

Поэтому я и мои товарищи по ФДСу робели при нём, молчали и слушали больше, а он тарыхтел безумолчно, как артист разговорного жанра на сцене, – и постоянно занимался саморекламой, везде и всегда раскручивал и преподносил достоинства свои и таланты, мнимые больше, выдуманые, высосанные из пальца, как потом с очевидностью выяснялось, чем действительные и реальные... И гитаристом он якобы первым в Кунцево был, и шахматистом знатным, и картёжником азартным, лихим, и хорошим спортсменом

(пловцом), и любимцем и поклонником дам. И в культуре он рубил якобы как никто – в литературе, в музыке, в живописи. И вообще, он такой человек, тонкий, возвышенный и прекрасный, каких на земле мало, если вообще такие есть, если водятся в природе. Ни дать ни взять – Демон лермонтовский; или всеобщий кумир-обожатель – если попроще и поскромней!

Оголтелая самореклама – национальная еврейская черта: я потом с этим постоянно сталкивался. Как попадается в коллективе еврей, даже самый копеечный и пустяшный, всё, конец, – только его (или её) одного (одну) и слушай и восхищайся, пой дифирамбы и в ладоши хлопай, повторяй, какие они все молодцы.

Вот и Серёга этой болезнью страдал, да ещё и в максимальной степени. Говорил, говорил, говорил безостановочно парень – и всё про себя, любимого и дорогого!... На гитаре он брэнчал на пьянках-гулянках, это правда, – но делал это плохо, по-детски: был самоучкой. Блатные песни очень любил, Высоцкого, Визбора, Окуджаву. Ну а какой он картёжник есть – нам он это в первые колхозные дни показал, как только объявился неожиданно-негаданно в нашей комнате.

Привёл его доцент Стёпин, напомним, когда мы уже отдыхали на раскладушках после работы, не знали, чем себя занять. А парни-картёжники уже сидели в углу за столом и писали *пультку*. Вошедший Серёга, когда их и карты увидел, ухмыльнулся презрительно и пробубнил: «В дурачка играете,

пацаны, или в пьяницу?» – желая этим унижить моих корешей. Парни опешили от такой откровенной наглости, переглянулись дружно. «...Зачем в дурачка? – заявили чуть погодя. – Пульку расписываемым», – чем окончательно рассмешили Серёгу. «Вы даже и такие слова знаете! – с вызовом сказал он. – Надо же! Под щелобаны играете, или под интерес?»... «Да можем и под интерес сыграть, – тихо ответили парни, с лиц которых удивление не сходило. – Садись, сыграем с тобой»...

В первый день Серёга за карты не сел: мы пьянствовать в лес умотали, а пьянки и бабы для него были всегда важней. А вот на второй день после работы решил сыграть – показать всем класс и заодно “обуть” моих общажных товарищей на пару-тройку рублишек. Сел расписывать *пулю* он в паре с моим соседом по комнате Костей, будущим “каталой”. Вернее будет сказать, мой товарищ сам выбрал его себе в напарники: уж больно Серёга борзо себя перед этим вёл, “профессионально” и высокомерно как-то. Вот Костя, уже и тогда отменный картёжник, и сел с ним в пару, развесив уши и думая обыграть соперников в пух и прах, деньжат себе подзаработать.

Кончилось всё это тем, такая их “цыганочка с выходом”, что уже через пару-тройку часов Костя с Серёгой просадили по червонцу каждый, большие в советские времена деньги, на которые я, например, мог неделю жить. Выяснилось к всеобщему удивлению, что балабол-Серёга в преферанс иг-

рает на самом примитивном, любительском уровне. А парни, против кого он сел, были настоящие профи, мастера.

«А куда ты лезешь тогда, – зло проронил Костя, вылезая расстроенный из-за стола, – если ни х...ра не умеешь, и карт в руках не держал? На червонец меня опустил, м...дак! – надо мне было это?! Иди вон лучше бормотуху пей, не морочь людям голову!»

Серёга и сам был в шоке: оправдывался неуклюже, что, мол, всю жизнь “в ростов” играл, а не “в сочи”, и всё такое. Но это была чистая отговорка, запоздалый трёп: мы именно так все и поняли. Подсмеивались над Серёгой несколько дней, который про карты больше не заикался и к картёжникам нашим не подходил: они с него спесь хорошо тогда сбили.

А я потом понял, ближе к 30-ти годам, что он и везде был таким “картёжником”-пустозвоном! И любой бы профи с него быстро еврейскую спесь его сбил – и игорную, и литературную, и культурную, всякую...

8

Но как бы то ни было, и что бы я тут ни писал, как бы ни размахивал кулаками после драки, но, начиная с 3-го курса, я, тем не менее, стал вторым Серёгиным на мехмате приятелем. Это есть твёрдый факт, от которого никуда не денешься. А всё остальное – эмоции запоздалые и пустые... Первым же и самым главным, самым выгодным его приятелем по возвращении из колхоза стал Беляев Коля, в которого Серёга вцепился как настоящий клещ – насмерть что называется, – которого как породистую корову “доил” и “доил” – и на мехмате, и потом, после его окончания. И до сих пор, как я слышал, всё ещё продолжает это...

Надо сказать, что Коля для него, ярко-выраженного хищника, или же социального паразита на современный лад, был идеальным жертвой и донором. Ещё бы: чистокровный славянин-русич с широкой русской душой, покладистый и хлебосольный, надёжный и верный во всём, готовый другу последнее отдать – всё, что под рукой имеется. Плюс к этому, отец Коли работал заместителем директора НПО «Альтаир» – крупнейшего научно-производственного объединения всесоюзного значения и масштаба, что на «Авиамоторной» располагался. Там, в «Альтаире», в советские годы разрабатывали с нуля (и теперь про это можно уже сообщить

открыто, не боясь нарушить грифа секретности) крылатые ракеты морского базирования – для кораблей и подводных лодок. Возможности, понятное дело, у человека, отца Николая, были огромные, для простого смертного и вовсе запретельные.

Не удивительно, что уже на втором курсе мой задушевный университетский друг Николай стал обладателем отдельной двухкомнатной квартиры рядом с парком Кусково, в которой впоследствии его новоиспечённый наперсник Серёга устраивал свои бесконечные пьянки-гулянки. Туда же он регулярно привозил и бл...дей (сохраняю жаргон товарища), и времени проводил там больше, наверное, чем сам хозяин, превратив квартиру в блат-хату, в притон.

Один был минус у Николая для нового его знакомого: он учился три последних курса во втором потоке, выбрав кафедру *математической логики*, десятую по счёту на Отделении математики нашего ф-та. Поэтому видеться с ним Серёга, студент кафедры *математического анализа*, постоянно не мог, чего очень хотел, – только после занятий. Я же был всегда под рукой, был рядом, смотрел на него восторженной, повторяюсь, если не сказать влюблённо. И амбициозному и тщеславному еврею-Серёге такое мое отношение сильно нравилось, безусловно, тешило его самолюбие. Вот он и приблизил меня к себе, единственного его “друга” в первом потоке, взял надо мной шефство в плане истории и литературы, с которыми я с тех пор постоянно к нему приставал.

«Расскажи да расскажи, – просил, – ты мне про Пастернака и Мандельштама, про того же Солженицына, просвети меня, дурачка. Я ведь эти фамилии, – признавался честно, – только от тебя и узнал. До знаний же я ещё со школьной скамьи страшно жаден!»

«Расскажу, Сань, всё расскажу: дай срок. Соберёмся когда-нибудь с тобой у вас в общаге, или ещё где, купим винца и водочки, посидим тихо и мирно. Вот тогда-то я с тобой и проведу ликбез. Ты, я гляжу, в плане культуры человек совсем тёмный и дикий».

Я не сердился и не отрицал своей культурной и литературной дикости. Просил Серёгу на переменах или на улице по дороге домой мне пока хоть что-нибудь рассказать про Пастернака того же, от которого Серёга, по моим наблюдениям, как от чистого спирта балдел или от непорочной девы, которого выше Пушкина с Лермонтовым ставил, выше Есенина, Блока. Утверждал со знанием дела, что «Пастернак – это космос, мол, поэт будущего, время которого ещё не скоро настанет, потому что не доросли-де до него люди. А может – и не дорастут»...

Я дурил и ехал умом, слыша такое, просил Серёгу принести мне пастернаковские стихи почитать в виде сборников, чтобы самолично познакомиться с ним, составить мнение.

«Да ты охренел, Санёк, спятил! – язвил надо мной мой товарищ. – Борис Пастернак – запрещённый поэт, всю свою сознательную жизнь советскую власть ненавидевший и пре-

зиравший, обличавший её по мере возможностей и сил, все её пакости и бл...дство. Поэтому-то власть и запретила его строго-настрого всем читать, из Союза писателей исключила, стихи из библиотек и магазинов изъяла. А ты его почитать просишь! Книжки его теперь достать практически невозможно! Они – на вес золота ценятся! Я его сборники стихов через десятые руки брал – у хороших знакомых! – и брал на несколько дней всего, под залог или под честное слово. А потом возвращал быстро и без задержек. Потому что познакомиться с Пастернаком, насладиться им, ума-разума от него набраться – очередь целая на годы вперёд существует! Это тебе не Пушкин какой-нибудь и не Лермонтов, кого в каждой библиотеке полным-полно – горы целые. А Пастернак, повторю, на несколько голов всех русских поэтов выше...»

После таких и похожих слов я и вовсе оказывался в про-страции, в нирване или сомнамбулическом состоянии, на-долго замолкал, пришибленный.

«Надо же! – думал, – какие люди на свете есть! А я, деревенщина неумытая, про них ни сном, ни духом не ведаю. Срамота!!! Москвич хренов!!!»

«...Ну хорошо, ладно, пусть, – придя в себя, наконец обра-щался я опять к Серёге надтреснутым от волнения голо-сом. – Нельзя так нельзя. Бог с ним. Почитай хотя бы что-нибудь наизусть, если ты так этого Пастернака ценишь и лю-

бишь, если много читал. Мне хочется самому понять, оценить величие этого человека, про которого я раньше, ещё раз тебе скажу, вообще ничего и ни от кого не слышал...»

Серёга напрягал память и лицо, задумывался... и через длинную паузу начинал читать строфы из «Гамлета», которые не произвели на меня особого впечатления. Две первых строфы прочитал – и остановился, дальше не стал или не смог прочитать. Сказал лишь, что стихотворение длинное и очень сложное, и что запомнить его тяжело. Добавил, что у Пастернака и все стихи философские и тяжёлые... Потом, подумав, прочитал пару строф из «Свечи». Потом ещё что-то... И всё. Остановился, уже окончательно. Сказал, что этого пока вполне достаточно мне, что дальше, мол, уже жирно будет.

Точно так же он меня знакомил потом и с творчеством Мандельштама, Ахматовой и Цветаевой: пару начальных строф из двух-трёх стихотворений каждого автора прочитает скороговоркой – и всё, шабаш! Хватит, мол, Санёк, перевари, мол, пока хотя бы это; с тебя и этого будет вполне достаточно, задарма... Причём, напутствовал он меня всегда с таким плутовским выражением на лице, будто и Пастернака, и Мандельштама, и Ахматову с Цветаевой он знает от корки до корки, как линии своей руки. Просто не хочет мучить себя, вспоминать. «Я, мол, тебе дал наводку, паря, а ты уж теперь сам крутись, ищи их по знакомым и библиотекам».

Про запрещённых Бабеля и Платонова, Варлама Шаламо-

ва того же он мало мне чего познавательного говорил – только перечислял названия их главных произведений. Зато Солженицына взахлёб славил как автора “без-смертного” «Архипелага ГУЛАГ» – «настольной книги, по его словам, каждого интеллигентного и высоконравственного человека»!! Но и это делал как-то поверхностно, без конкретики и огня в глазах – одними пустыми эпитетами отделялся от меня, лицедей! Потому что сам, наверное, не читал, но не признавался в этом: он вообще редко в чём порочащем его признавался, а лучше сказать – никогда... А вот Михаила Булгакова и его «Мастера и Маргариту» расхваливал на все лады, и делал это часто и много: его он, скорее всего, прочитал; поэтому хорошо помнил сюжет и героев, перечислял их для форсу и убедительности, цитировал некоторые места. Уверял меня всякий раз, что «Мастер и Маргарита» – самый великий роман из всех, которые он знает, куда круче и качественнее «Войны и мира» и «Тихого дона» даже: это точные его слова...

Мне оставалось лишь слушать и верить Серёге на слово, ибо сам я с Булгаковым в 1990-е годы смог познакомиться только, с «Мастером и Маргаритой» – в том числе. И, признаюсь, был крайне удивлён и раздосадован после прочтения. Я-то ожидал увидеть мысленным зрением что-то великое и широкое как небо над головой, и такое же как небо бездонное, в высшей степени мудрое и познавательное, да

ещё и с большим историческим и философским уклоном и реминисценциями, что превосходит качеством и масштабом антикварного уже Толстого, Мельникова-Печёрского и даже Шолохова. Так меня Серёга мой в Университете настраивал, во всяком случае, именно к такому интеллектуальному пиршеству готовил.

Но увидел я вместо этого одну лишь чистую беллетристику, примитивное и плоское бытовое чтиво с копеечными мыслями и проблемами, разбавленное для пущей важности элементами мистики, тоже, кстати сказать, грошёвыми и достаточно примитивными, вырезанными из Евангелий. Коробили в романе и сентенции типа: *«Никогда и ничего не проси у сильных мира сего: придут и дадут сами»*, – которые никак не красят писателя, претендовавшего на пьедестал, которые читать противно. Потому что никто и никогда задарма никому и ничего не даёт, за красивые глазки: стыдно такое не знать взрослому человеку. А у Булгакова это было тем более странно читать, что сам-то Михаил Афанасьевич был ужасным сквалыгой и нытиком: при жизни задолбал Сталина письмами с просьбами помочь с деньгами и публикациями, с лечением и отдыхом. Но в романах и повестях хотел гордым и красивым казаться, лицемер, скрывал от потомков мелочность своей души и мыслей, как и непомерные свои амбиции.

А «Бал Сатаны» меня и вовсе рассмешил сначала, а потом – расстроил. Потому что такими “страшилками” раз-

ве что первоклашек перед сном пугать, а уж никак не бывалых людей почтенного возраста. Ибо сатанинские балы в действительности ни один нормальный человек не опишет и не перенесёт: психика его не выдержит тамошних страстей и кровавых ужасов – в два счёта лопнет... У нас в ЧК было нечто похожее в 1918-20-е годы: когда с людей сдирали кожу заживо, молотами раскалывали черепа, отрубали для смеха руки и ноги, резали гениталии, выкалывали глаза штыками, вспарывали животы и копались во внутренностях, дымящуюся кровь жертв расправ кружками пили вместо допинга, и при этом затыкали уши тампонами марлевыми, спасаясь от душераздирающих криков. Тогда даже и палачи-чекисты, садисты законченные и маньяки, сходили с ума, не выдерживали психологического напряжения! Вот уж были “балы” так “балы”, “кровавые карнавалы” целые – воистину сатанинские!... А Булгаков какими-то детскими ужасами захотел народ удивить. Смешной он был всё-таки парень, этот наш Михаил Афанасьевич!

Я расстроился сильно, помнится, загрустил. «Зачем, – первое, что подумал, – было советским властям такой примитив запрещать, делать ему этим бесплатную рекламу?» Не скажу, что роман плохой, нет: есть там некий цельный сюжет, какой-никакой замысел, язык удобочитаемый. Но уж никакой он не выдающийся, не первого ряда – оставьте этот вздор его горячие поклонники и почитатели, не грешите, не надо! Вам всё равно больше не поверит никто – после того, как

Булгаков из подполья вышел, – посмеётся только.

Да, согласен, что и юмора там много добротного и качественного, который читателя держит, не отпускает. Это – главное писательское достоинство и находка, на мой скромный взгляд. Без этого «Мастер и Маргарита» половину бы своей прелести потерял – и остался бы незамеченным читателями и критиками... Ну а в целом это – убогая беллетристика для обывателя наподобие творений Войновича или Ярослава Гашека, где кроме чёрных пародий на жизнь и нет ничего! Разочаровали меня, одним словом, и роман, и Булгаков, и Серёга мой – москвич богемный, эстетствующий...

«Мелкий он какой-то оказался на поверку, – подумалось с горечью про бывшего друга, – мелкий и глупый – но с гонором. И кумиры его такие же – примитивные, плоские и недалёкие...»

—

*) Писатель **Э.Лимонов** хорошо однажды про это булгаковский “шедевр” написал: хочется привести его мысли в дополнение к авторским. Итак: «...«**Мастер и Маргарита**» – любимый шедевр российского обывателя... Во-первых, пародия на исторический роман. Во-вторых: это еще и плутовской роман, и очень-очень напоминает ... «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». В-третьих, добавлен небольшой элемент сверхъестественного... Смешав и встряхнув хорошенько все эти элементы, получаем очень лестную для обывателя книгу. В «**Мастере и Маргарите**» обыватель

с его бутылью подсолнечного масла, с его ЖЭКа́ми и прочей низкой реальностью присоединяется к высокой Истории, к Понтию Пилату и Христу. Ну как же обывателю не любить такую книгу?! Он ее и любит с завидным протестным задором. Хотя... книга получилась вульгарная, базарная; она разит подсолнечным маслом и обывательскими кальсонами. Эти кальсоны и масло преобладают и тянут вниз и Понтия Пилата, и Воланда, и Христа. С задачей создать шедевр – роман высокого штиля – Булгаков не справился, создал роман низкого уровня, сродни «Золотому теленку»... «Соба́чье сердце» – достаточно гнусный антипролетарский памфлет... сама интеллигенция может быть не менее противна, чем пролетариат. Самая удачная книга Булгакова, без сомнения, – это «Белая гвардия»...»

9

1980 год стал воистину ЧЁРНЫМ для меня – я прощался с родным и любимым Университетом, к которому прикипел за 5 студенческих лет как второму отчому дому, где у меня давно уже всё стало родным: и стены, и атмосфера, и люди. Признаюсь как на духу, что впоследствии я не встречал уже больше нигде подобных красивых людей – такого же высочайшего душевного и духовного качества и таких талантов!

Поэтому-то я и мотался потом ещё долго в Главное здание МГУ на Ленинских горах, благо было к кому: там товарищи-аспиранты мои учились, с которыми мы регулярно пьянствовали три года, молодость вспоминали свою, годы студенческие, беспечные... С научным руководителем я тоже потом встречался лет пять или шесть – до горбачёвского в Кремль прихода. Но больше всех – с Беляевым Николаем виделся, по которому страшно скучал, который стал мне воистину вторым родным братом на мехмате.

Но приезжая домой к Коле, я там постоянно Серёгу встречал, который, как я уже говорил, вцепился в него мёртвой хваткой во время учёбы. И не отпускал – держал крепко. А Коля мой был почему-то этому рад: необычайно добрый, податливый и без-хребетный, он словно бы нуждался в таком поводеыре, хищном, сверх-волевом и цельном.

Серёга это чувствовал, свою над человеком власть – и

пользовался Колей по-максимуму: превратил его квартиру в свою, жил и гулял там неделями и месяцами. На это не повлияла даже женитьба Беяева, потому как друг-Серёга долгое время был для него дороже жены. Ибо жена – для постели служит на первых порах, для секса, а друг – для души и сердца.

Жена, понятное дело, сильно обижалась на это, пыталась с первого дня Серёгу от своего суженого отбить и от дома навсегда отвадить – но всё без толку. Даже и угрозой развода она не могла Николая пронять и привести в чувства: так он крепко к прохиндею-Серёге всем существом прикипел, что было и не оторвать никакими силами.

Супруга Николая Света пыталась и меня к этому благому делу подключить, чтобы и я как-то повлиял на Колю на правах товарища. Не раз жаловалась на кухне, когда мужа не было дома, что наглец-Серёга её уже задолбал, до печёнок достал своей несусветной наглостью и хамством. Прицепился, мол, к их молодой семье как клещ кровожадный или вампир – и сосёт их обоих безбожно и беспрестанно. Все юбилеи и дни рожденья и свои и друзей отмечает у них, живёт у них по неделям как барин, объедает и обпивает, деньги их как свои собственные тратит, вино их домашнее пьёт, варенье трескает за обе щеки, которое они с дачи привозят. А у него, жаловалась, никогда денег нет: и куда, удивлялась, он их только девадет, жучила!!!...

Я слушал бедную Светлану, помнится, всем сердцем сочувствовал ей, жалел, – но что я мог, посторонний человек, сделать? Я сидел с понуро опущенной головой и думал, как чудно устроена всё-таки наша жизнь, чудно, нелогично и несправедливо. Мы, русские люди, если сдружаемся с кем – последнюю рубашку другу готовы отдать, крестик с груди снять и подарить на память. Так мы интересно и неразумно устроены! А евреи, наоборот, сдружаются исключительно для того только, чтобы эту нашу последнюю рубашку взять вместе с крестиком.

И замечательного русского философа Розанова я тогда отчего-то вдруг вспомнил, его размышления про невесёлую и обременительную для нас, гоев, еврейскую дружбу.

«С евреями ведя дела, чувствуешь, - писал Василия Васильевича в “Опавших листьях”, – что всё “идёт по маслу”, всё стало “на масло”, и идёт “ходко” и “легко”, в высшей степени “приятно”. (...) Едва вы начали “тереться” около него, и он “маслится” около вас. И всё было бы хорошо, если бы не замечали (если успели вовремя), что всё “по маслу” течёт к нему, дела, имущество, семейные связи, симпатии. И когда наконец вы хотите остаться “в себе” и “один”, остаться “без масла”, – вы видите, что всё уже вобрало в себя масло, всё унесло из вас и от вас, и вы в сущности высохшее, обесположенное, ничего не имущее существо. Вы чувствуете себя бесталанным, обездушенным, одиноким и брошенным. Сужа-

сом вы восстанавливаете связь с “маслом” и евреем, – и он охотно даёт вам её: досасывая остальное из вас – пока вы станете трупом. Этот кругооборот отношений всемирен и повторяется везде – в деревеньке, в единичной личной дружбе, в судьбе народов и стран. Еврей САМ не только бесталанен, но – ужасающе бесталанен: но взамен всех талантов имеет один большой хобот, маслянистый, приятный: сосать душу и дар из каждого своего соседа, из страны, города. Пустой – он пересасывает в себя полноту всего. Без воображения, без МИФОВ, без ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ, БЕЗ ВСЯКОГО чувства природы, без космогонии в себе, в сущности – БЕЗЪЯИЧНЫЙ, он присасывается “пустым мешком себя” к вашему бытию, ВОСТОРГАЕТСЯ им, ЛАСКАЕТСЯ к нему, искренне и чистосердечно восхищён “удивительными сокровищами в вас”, которых сам действительно не имеет: и начиная всему этому “имитировать”, всему этому “подражать” – всё искажает “пустым мешком в себе”, свою космогоническую БЕЗЪЯИЧНОСТЬЮ и медленно и постоянно заменяет ваше добро пустыми ПУЗЫРЯМИ, вашу ПОЭЗИЮ – ПОДДЕЛЬНОЮ ПОЭЗИЕЮ, вашу философию – философической риторикой и пошлостью (...)

И так – везде.

И так – навечно»... (В.В.Розанов «Опавшие листья». III короб. 21.11.1914.)

Я и сам, знаете, прожив достаточно долгую уже жизнь и всё подмечая в ней и анализируя самым дотошным образом, в этих словах философа убеждался потом не раз, имея родственников-евреев. Открою секрет, признаюсь как на духу, что оба брата моего отца – старший и младший – были женаты на еврейках. А потом ещё и мой родной брат, святая душа, тоже мне и родителям удружил: хитро-мудрую евреечку взял себе в жёны – “осчастливил” нас и себя её “красотой неземной и умом недюжинным” до жути. Да и братья моей супруги, родной и двоюродный, были женаты на еврейках, пока те не померли обе, детей нарожали от них. В двух столичных оборонных НИИ, где я более 20 лет трудился, евреев тоже было немерено и несчитанно... И после этого раввины ноют и жалуются по телевизору, что евреев-де МАЛО на свете, что надобно их морально и финансово поддержать. «А нормально – это сколько по-вашему будет? – так и подмывает спросить лидеров иудеев, – это когда **каждый первый** будет еврей? Как в Израиле? Но кто тогда вас поить и кормить будет, товарищи дорогие, батрачить на вас, содержать?!»

Но сейчас не про это речь, а про то, что я хорошо познал, на собственной шкуре, что называется, что это за чудо такое – еврейская дружба и родство, и во сколько они обходятся добродушному и добропорядочному русскому человеку. Не поленюсь, повторю Читателю, чтобы запомнил крепко, что евреи дружбу с нами, гоями, понимают как-то уж больно чудно и своеобразно. Все мы просто обязаны, по их разуме-

нию, на них работать, им подчиняться беспрекословно и служить, бросаться на помощь по первому их требованию, одаривать их вниманием и подарками, от пуза поить и кормить, отдавать последнюю копейку. Потому что дружба с ними, избранныками и посланцами Иеговы, для нас – по их же твёрдому и непреложному мнению, опять-таки, по их иудейским взглядам на жизнь! – это большая удача и честь: они нас ею как бы одаривают и счастливят, к себе приближая как равных. Именно и только так евреи к этому и относятся – как к нисхождению и одолжению с их стороны, спусканию с небес на землю: чтобы с нами, гоями, скрепя сердце поручкаться и пообщаться – за хорошую плату, естественно, за навар.

От них же, как правило, не получаешь в ответ ничего: они как-то умело и ловко в нужный момент все от тебя ускользают бесследно, оставляя тебя, бедолагу, с носом и недоумением – и с накопившимися проблемами и обидами, разумеется, один на один. Дружба и родство с ними – односторонние, – как течение реки! Или как тупое хождение в Церковь на праздники или на похороны, когда туда служителям культа несёшь и несёшь деньги, яйца, творог и куличи, но главное – душу широкую, русскую, чаяния, надежды и слёзы. А взамен не получаешь ничего – только сальные, приторные улыбки попов и их многочисленной вороватой челяди (из еврейского племени в основном), да пустые и дежурные обещания загробной жизни, рая небесного – как приманки. Всё! Более там ни от кого и ничего не дождёшься – кроме мздоимства

и словоблудия...

Поэтому-то я и согласен с мнением Розанова, полностью подписываюсь под ним: я испытал еврейскую дружбу во всех её видах и проявлениях. И насытился ей по горло, хватит, поживу теперь без неё. Мне это здоровее и полезнее во сто крат будет...

А про дружбана Серёгу скажу, жука прожжённого и лицедея, плута и афериста, что его послеуниверситетское мнимое безденежье и нитьё стали меня раздражать: я стал сильно сомневаться в его бесконечных рассказах про какие-то там мифические загулы на стороне с тратой огромных денег. Со мной и Николаем Беляевым, во всяком случае, он свою щедрость ни разу не проявил, наоборот – исключительно за наш счёт продолжал гулять и пьянствовать.

Когда он это в Университете делал – я смотрел на это спокойно и снисходительно: понимал, что человек за 5 лет учёбы не получил ни копейки стипендии от государства, что и в стройотряд он не ездил – вот и ныл, и плакался постоянно, скулил про отсутствие средств. Но уверял нас на голубом глазу, клялся-божился даже, что были бы они у него – ох и дал бы он тогда жару! Такой *забег в ширину* устроил бы – что и чертям тошно стало!

И вот наконец после получения диплома и выхода на работу он озолотел: его пробивная мамаша ему, двоечнику и м...даку, такое халявное и кашерное место нашла в центре

столицы, что мы, отличники, только диву давались! Он, не умея умножить два на два как следует – это математик-то высшей квалификации! – стал получать на службе 200 с лишним рублей – огромные по тем временам деньги! И при этом продолжать валять дурака, не стучать пальцем об палец в своём элитном НИИ, как и у нас на мехмате: умеют же эти евреи устраиваться! И плакаться, вечно при встречах ныть и стенать – на жизнь свою невыносимо-тяжёлую жаловаться, на судьбу! Как и на множественных “друзей”, сослуживцев, “подруг” и любовниц, на супругу с дочуркой, матушку, сестру и бабу, которые якобы его, “дурачка-простачка”, “доят” и “доят” без-совестно и безбожно, как ту же грушу постоянно трясут – требуют своей доли внимания и капиталов. А он-де такой простой и широкий, охочий до дружбы и до любви, не может никому отказать: тратится на всех и тратится, и всё прогуливает подчистую, что заработал. И опять он вроде как нищий жил, опять нам его надобно было жалеть – и содержать, разумеется, по-дружески поить и кормить до отвала.

Мне это было уже и странно и неприятно слушать, признаюсь, – такие очередные серёгины по-сиротски слёзные песни. Это было с его стороны перебором, и не жалость уже вызвало, а тихую злобу с яростью вперемешку.

«Деньги лопатой гребёт, – стал уже думать я после каждой нашей с ним встречи, – а всё ноет, гад, жизнью своей недоволен, хитрюга, всё меня и Кольку на “пузыри” и пиво раскручивает! Любовниц поменьше води, пей и гуляй поре-

же, кобель, на автобусах ездил по городу, а не на такси, живи скромнее и проще, как все остальные живут, меньше по городам и весям СССР на экскурсии шлейся, – тогда и денюжки будут...»

Отношение моё к Серёге стало с этого времени резко меняться. Я стал понимать и видеть воочию, что он – хитрожопый жук, но с большими связями, которые позволяют ему легко и успешно по жизни плыть – как ледоколу по морю, – и при этом в ус не дуть, не печалиться ни о чём, не ломать голову: только снимать с чужих праведных трудов пенки. Нет, как хотите, но на этот еврейский житейский рай со стороны смотреть мне, одинокому и плохо устроенному в столице провинциалу, было уже крайне тягостно и обидно.

Почему-то в такие минуты горестные и печальные замечательная Нина Карташова назойливо лезла в голову со своими пророческими стихами:

«Народ мой бедный! Дармовой работник,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.